

18+

АНАТОЛИЙ БИМАЕВ

В СТОРОНУ СИУАТАНЕХО



Анатолий Бимаев

В сторону Сиуатанехо

«Издательские решения»

Бимаев А.

В сторону Сиуатанехо / А. Бимаев — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В сборнике повестей «В сторону Сиуатанехо»
автор размышляет на тему извечного стремления человечества
к Потерянному раю. Представляя собой своеобразный триптих, книга ведет
читателя от мифологической притчи к реалистическим произведениям,
от архетипического к современной действительности, давая каждому
возможность найти что-нибудь для себя. Книга содержит нецензурную брань.

© Бимаев А.

© Издательские решения

Содержание

В сторону Сиуатанехо	6
Человек-птица	7
Конец ознакомительного фрагмента.	25

В сторону Сиуатанехо

Анатолий Бимаев

© Анатолий Бимаев, 2026

ISBN 978-5-0071-0306-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В сторону Сиуатанехо (повести)

Человек-птица

И ушло за горизонт солнце, и на широком плаще Атеа засияла россыпь жемчужных звезд. Смежились очи бога. Задремала его возлюбленная Папа-земля, из священного союза с которой образовался некогда мир. Оцепенели в сонной дремоте подернутые туманом реки, горы, деревья. Уснул, умиротворенный собственным дыханием, океан. И давно отгорели костры в деревнях, растворяясь в темной ночи едким дымом. Спали люди в своих ветхих фаре и видели уже пятый сон.

Не спал только юноша Тутанакеи, сын безвестного рыбака и мастерицы циновок, сильный и смелый, свободный духом, словно Мауи — легендарный герой, похитивший у богов подземного мира огонь.

В это позднее время на берегу океана, среди зарослей пандануса, в тени шелковицы и хлебного дерева, отбрасываемой полной луной, Тутанакеи ждал Хинемоа, прекрасную дочь вождя по имени Тура. На горе и счастье юноши, ибо любовь всегда есть великое горе и великое счастье, Хинемоа была ритуальной принцессой, таупоа племени Мокоии. Ни один смертный не мог желать Хинемоа. Она появилась на свет, чтобы девственной служить на священных обрядах распития кавы, встречать именитых гостей, быть лицом и честью каинги. А потом, в один из назначенных верховным тохунгоу дней, украшенной морскими ракушками и перьями казуаров, возлечь на ложе вождя соседнего племени, укрепив союз двух матае.

Далеко разносилась печальная песня флейты Тутанакеи, на голос которой должна была приплыть Хинемоа. Прошло две недели, как они условились свидеться, но девушка так и не появилась. Две недели с того благословенного дня, когда, встретившись взглядами на собрании племен архипелага — племен острова Офату, который украшала своей неземной красотой Хинемоа, и племен острова Отахуху, где родился и вырос Тутанакеи, — молодые поняли, что влюбились.

Нелегко, верно, было вырваться Хинемоа из-под надзора многочисленных теток и бабушек, не отпускавших ее от себя ни на шаг. Нелегко было выкроить час любви в этом мире несправедливости и раздора, и потому Тутанакеи не унывал, каждую ночь, верный своему обещанию, выходя к берегу моря играть на флейте.

Две недели он дожидался возлюбленную. И две недели Хинемоа томилась, словно в темнице, на ставшем ей ненавистном острове Офату. В первую ночь, выйдя на побережье, чтобы пуститься по волнам океана навстречу прекрасной музыке, она обнаружила, что кто-то вытащил все суда на песок, не оставив на воде ни одной лодки. Тогда Хинемоа явилась на берег еще один раз. Но и на вторую, и третью ночь, и четвертую все повторилось опять. Словно прознав о планах влюбленных, какой-то злой дух нарочно мешал им соединиться, разлучая вытесанные священными теслами мастеров Мокоии каноэ с их единственной верной спутницей жизни — капризной и своенравной Моаной, ласковой, нежной Моаной, грозной Моаной.

Призывно звучала вдали одинокая флейта Тутанакеи. Это сама любовь его сердца, нашедшая воплощение в чарующих звуках мелодии, спешила к своей Хинемоа, но девушка не могла покинуть родной земли.

Дни тянулись медленной пыткой. Неужели Мауи, не закончив великих подвигов древности, снова взялся утихомирить быстрокрылое Солнце, остановив его бег, чтобы не светили звезды над Оялавой, не было больше рассветов и зорь, не было тайных свиданий под прикрытием мрака. С трудом двигалось Солнце по небу, изнемогая в усталости. Где ему справиться с полубогом? Верно, подобно струне натянулась веревка героя, которой он пленил лучезарную сферу, и пот блеснул на его мускулистой груди и глаза смотрели с непреклонным упорством. Кто мог ему помешать?

И тогда Хинемоа обратилась к Мауи с такими словами:

— О, прославленный герой древности!

Ты выловил на крючок, словно рыбу, земли Офату и Отахуху, ты добыл для людей архипелага огонь, ты замедлил бег Солнца, чтобы под его ласковым светом вызревали кокосы и ямс, бананы и таро, наливались питательной мякотью плоды хлебного дерева. О твоих подвигах слагают легенды, твое имя не сходит с уст благодарных жителей Оялавы. Но достоин ли восхищения рыбак, который, снискав себе славу великого мастера, на старости лет вместо того, чтоб терпеливо ждать смерти, немощным и слепым, снова рвется в беспокойные воды Моаны навстречу новым победам? Разве уже не исполнил он все, что предназначила жизнь? Разве уже не смотрят на него молодые, мечтая сравняться с ним в ловкости и удаче? И разве не говорят про таких, что они подобны акуле, возжелавшей слопать собственный хвост?

Задумайся, прославленный герой древности, бесстрашный Мауи!

Мечтая снова вернуться к великим делам своим на Земле, не состязаясь ли с собственной славой? Не пытаешься ли новым подвигом предать забвению старые? Умертвить уста благодарных жителей Оялавы, славящих твое имя в легендах?»

Так обратилась Хинемоа к Мауи.

И умный, величественный сын богов внимал ее журчащему, как ручей голосу, и его сердце смягчалось. Разжимались крепкие руки, державшие Солнце, словно на привязи, и Солнце спешило за горизонт в страну мертвых Гавайки, и зажигались звезды одна за другой на темном плаще бога Атеа, и выходила Луна.

Снова Хинемоа спешила к берегу моря, но вновь не могла покинуть пределов земли Офату. Зол и коварен был дух, вставший на пути двух влюбленных. Словно травинки, каждую ночь перемещал он тяжелые каноэ на побережье, туда, где не могли их достать волны прибоя, лишая девушку желанной встречи с Тутанакеи.

Две недели Хинемоа тосковала по юноше. А на пятнадцатый день, не в силах более выносить томившей сердце разлуки, она бросилась в море со связкой спелых кокосов и поплыла на звук флейты возлюбленного. Несколько раз Тутанакеи прерывал свою музыку, теряя, верно, надежду увидеть любимую, и тогда душа девушки стыла в отчаянье. Скрылась за облаками Луна, освещавшая полуночный мир, не было видно путеводных созвездий. В какой стороне Земля, сулившая жизнь и спасение, а в какой Океан, обещавший погибель, разобрать невозможно. Но сильна была любовь Тутанакеи, непоколебима вера его в то, что однажды Хинемоа придет — через мгновение флейта снова звучала в ночи и девушка узнавала дорогу.

Не умолкал бы только этот манящий звук в темноте, пело бы только сердце влюбленного и ничто не собьет Хинемоа с пути. Ни ледяное течение, влекущее ее в открытое море, ни усталость, сковавшая руки и ноги, ни страх перед дальней дорогой и хищными рыбами. Все готова преодолеть, справиться со всем Хинемоа ради любимого. Ведь красив, как сам вождь, ее Тутанакеи, быстр, как сапсан, а молва о его силе шагает по мирным каингам, точно живой человек.

Давно волновала воображение девушки эта молва, давно растила в сердце всходы любви, задолго до их первой встречи в родной Мокоии. И теперь, распутившись подобно цветам гибискуса, заблагоухав, как самый изысканный плод, чувство ее стало огромным и неукротимым.

Долог был путь Хинемоа к земле Отахуху, опасен и труден. Но всему когда-нибудь приходит конец. Пришел конец и ее испытанию. Ступили девичьи ноги на песок заветного острова и, вспорхнув легкими птичками, побежали к Тутанакеи. И Тутанакеи, увидав Хинемоа, поспешил ей навстречу. Никогда еще ночь не была свидетельницей столь страстного поцелуя, что увенчал объятия двух влюбленных, никогда еще не наблюдала она столько нежности в отношениях смертных мужчины и женщины. Не жаждали, верно, так соединиться друг с другом даже горы острова Офату, Кара и Какепуку, что по легенде, томимые пылом любви, преодолели моря и равнины лишь бы быть вместе. Вот уже тысячу лет стоят они, одна напротив другой, не

в силах разомкнуть взглядов, и туман, нисходящий по вечерам на их склоны, застенчиво прячет брачные ласки. И хотя не было у смертных влюбленных впереди столь долгих лет жизни, не было огромных гранитных сердец, способных стерпеть томление безмерного чувства, одним поцелуем они испили до дна всю чашу вечности и мгновение это растянулось, словно века.

Высок и крепок был Тутанакеи. На твердой, как камень, груди его красовались щиты перламутровых раковин, а запястья украшали браслеты тридакны. По широким плечам, спине и ногам кружилась спиралью, то переходя в паутину, то рассыпаясь на мелкие брызги точек, черная татуировка, рельефная, будто кора столетнего дерева. Лицо же его было, верно, высечено под резцом знаменитого мастера: непреклонные линии подбородка, носа и губ, лучащийся взор, озаренный светом божественной силы, оттянутые до ключиц тяжелыми серьгами уши. Само совершенство пожелало явиться миру в Тутанакеи. Не было в нем никакого изъяна, уродства.

Подстать красавцу Тутанакеи была и Хинемоа. Налегке плыла она по морю и потому единственным украшением, в котором девушка предстала пред юношей, была нагота стройного, смуглого тела. Все в этом теле сияло гармонией: миниатюрное личико с порхающими по жизнерадостным траекториям бархатными глазами-бабочками, круглые, стоячие груди и покатым живот, еще не познавшие муки рождения, отнимающей женскую силу и молодость. Все в Хинемоа было прекрасно, и Тутанакеи, зачарованный прелестью юной красавицы, смотрел на нее с восхищением.

И обратилась Хинемоа к Тутанакеи с такими словами:

— О, славный воин Тутанакеи! Любимый Тутанакеи!

Нелегко был путь к тебе. Злой дух преграждал мне дорогу, разлучая каждую ночь священные лодки с Моаной, чтобы я не могла покинуть родной Мокоии. И Мауи, этот тщеславный Мауи, пытался мне помешать, остановив бег легкокрылого Солнца, дабы не было больше ночи на земле и тайных свиданий влюбленных. Течение норовило унести меня в открытое море, и звук твоей флейты все время терялся во мраке, обрекая меня на погибель. Но несмотря ни на что я приплыла к тебе, Тутанакеи, ибо нет во всем мире, во всех девяти небесах, такой грозной силы, что способна смирить порыв страстного сердца.

И пусть отец, великий вождь Тура, предназначил Хинемоа в жены другому, лишь ты станешь ее настоящим супругом, любимый. Сам дух мой взялся за руки с твоим и теперь они тихо шагают вдоль кромки моря. Разве брачный союз их не священен? И разве не крепче он тех мертвых уз, что налагают на нелюбимых своим глухим бормотанием тохунги среди каменных истуканов мараэ?

Так обратилась Хинемоа к Тутанакеи, и так Тутанакеи ответил:

— О, прекрасная Хинемоа, достойная дочь великого Тура.

Клянусь, не бывать тому, о чем ты говоришь! Прежде скроется под водой Отахуху, чем ты станешь женой Кахукуры. Прежде боги девятого неба состарятся, чем, покорная и молчаливая, ты подаришь ему свои нежеланные ласки. Запомни слова мои, Хинемоа! Не носить мне своего имени, если я не сдержу клятвы.

— Тогда люби меня! — воскликнула Хинемоа. — Или в тебе нет костей и ты не решишься в этом признаться?

И обнял девушку Тутанакеи, и она ему не противилась. Он обнял ее не так как при встрече, любовно и ласково, словно пташку, в тщедушном теле которой едва теплится жизнь и ты боишься ее раздавить, а обнял иначе, порывистей, и руки его, казалось, прошли через кожу, вросли в Хинемоа, как корни, выжимая по капле из сердца любовь. Они питались любовью, но корней-рук было мало, чтобы насытить все дерево, заключенную в ребрах мятежную душу Тутанакеи, и тогда он прижался к ней ртом, приник грудью, сомкнул свои бедра с бедрами девушки и так, слившись с ней в одно целое, пил ее, как одержимый, сминая и комкая, раздирая на части.

Как горный родник в знойный полдень Тутанакеи пил Хинемоа и любовь в ней не пресекалась. Любви было так много, что она вот-вот могла выплеснуться через край, не в силах унять своих страстных порывов. И когда Тутанакеи, насытившись, наконец, отстранился от девушки, усталый, но радостный, любви в Хинемоа было ровно же столько, что и в самом начале, но теперь она тихо плескалась внутри, как безмятежное море, спокойные волны которого ласково били о грудь.

Чувствуя в себе это море, девушка открыла глаза и, открыв их, увидела, как светлеет восточное небо. С тяжелым сердцем поднялась она с брачного ложа. Грустно ей было прощаться с милым возлюбленным, грустно было смотреть на него взглядом разлуки вместо взгляда радостной встречи, зная, что не можешь остаться.

И обратилась Хинемоа к любимому:

— О, Тутанакеи, мой желанный супруг.

Поблекли звезды на плаще бога Атеа, им вот-вот на смену придет встающее Солнце. Близок рассвет, близок час нашего расставания.

Вместе с маленьким озерцом Каити на вершине горы Какепуку, что по легенде влюбилось в самую яркую звезду небосвода, я ожидаю дня с печалью и невыразимой тоской. Ужели не видеть тебя мне при солнечном свете? Ужели не выходить с тобой под руку из нашего общего фаре свободно и без стыда, как подобает жене? Ужели любоваться тобой лишь краткое время ночи, посвящая дни ожиданию?

Так обратилась Хинемоа к любимому и, смолкнув, заплакала.

Тяжелый камень лежал на душе Тутанакеи и потому сперва он ничего не ответил любимой, не желая явить своего малодушия.

Когда же поборол он дрожь голоса, то произнес:

— Верь мне, прекрасная дочь Мокоии, лучшая из земных жен. Как я сказал, так и будет. Не разойдутся дела мои со словами до тех самых пор, пока будет стучать в венах кровь, а сердце шептать твое имя. Не коснется тебя Кахукура. Не возляжет с тобой на одном ложе. Не назовет своей супругой.

Так сказал Тутанакеи, и тревога души Хинемоа прошла и сами собою высохли слезы.

Но настало время прощаться. Горькими были поцелуи влюбленных, которыми они обменялись теперь. Пообещав Тутанакеи приходить к нему каждую ночь, Хинемоа пустилась в обратный путь. И дорога эта была дорогой воспоминаний. Она не пугала более девушку грозными трудностями, потому что плыла Хинемоа туда, куда ей приплыть не хотелось. Казалось, было бы лучше ей утонуть — столь нестерпимой представлялась разлука, но море, будто назло, само несло ее к ненавистному берегу, с каждой секундой отдаляя от благословенной земли Отахуху. Никто в этот раз не играл Хинемоа на флейте, направляя ее в темноте, никто не ждал со своею любовью под кронами хлебного дерева, но путешествие девушки закончилось благополучно.

Вступив на родной остров, Хинемоа направилась было в свой дом, желая тенью пробраться мимо спящих фаре деревни и никем не замеченной лечь на циновки, встретив так утро. Но планам ее не суждено было сбыться. Когда проходила она мимо лодок, сгучавших на берегу по волнам Моаны, ее остановил властный окрик Пифанги — старой, завистливой тетки, охранявшей ее целомудрие для чужого матае.

И сказала Пифанга племяннице:

— Стой, дрянная девчонка!

Где пропадала всю ночь? Ответь мне, негодница!

Неужели завела себе ухажера, забыв, что должна стать женой вождя Кахукура, славного правителя Уикато, что по той стороне горы Кара? Разве не подобает благодарить милосердных богов, пославших на долю такую завидную участь? Или несносна тебе, легкомысленной, роль таупоа, раз позволяешь себе подвергать всех опасности, проводя ночь с любовником?

Посмотрим, что скажет на это отец, великий вождь Тура, услышав о падении дочери, обесчестившей свой древний род Мокоии.

Так сказала Хинемоа Пифанга.

И были слова ее страшным укором для девушки, но не заставили сожалеть о содеянном. Ибо алчен и стар был вождь Кахукура, не любила его Хинемоа, а любила красавца Тутанакеи, и не могла идти против зова природы.

С потухшим взором шла Хинемоа вслед за Пифангой. И вид ее в этот момент казался настолько же жалок, насколько самодоволен был вид злой Пифанги. Прожив всю жизнь без любви, переходя, как ненужная вещь, от одного мужчины к другому, она была рада видеть чужие несчастья и особенно несчастья племянницы — самой красивой, самой удачливой, самой одаренной почестями и украшениями девушки племени. Теперь удача ее должна смениться страданием, а почести — позором, и Пифанга видела в этой коварной игре изменчивой жизни проявление высшей справедливости небожителей, находя беду Хинемоа заслуженной.

Вместе с душами жителей Мокоии, возвращавшихся из страны сновидений, женщины вступили в деревню. Между невысокими фаре с покатыми крышами, касавшимися самой земли, курились пепелища ночных костров, призванных отгонять от жилищ темных духов. Тут и там шныряли свиньи, при виде людей они с пронзительным визгом и хрюканьем разбегались по сторонам, прячась в зарослях тропических джунглей. Вся деревня, словно бы вырастала из этих зарослей. Она была продолжением зеленого леса, частью пейзажа, как горная речка или просека, аккуратная, чистая, праздничная. Аккуратная и чистая, потому что жители Мокоии любили свой дом и любили остров, на котором родились. Эта сыновняя любовь к священной Папа-земле не давала им позабыть свои корни, призывая ухаживать за прародительницей, когда-то в великих страданиях выносившей их в своем большом чреве. Праздничный же вид деревне придавали крыши строений. Они покрывались широкими листьями пальм, которые, выцветая на солнце, становились белыми, словно песок, и были приятны для глаза.

Пифанга провела Хинемоа в самый дальний конец Мокоии. Провела ее мимо мараэ, длинной площади для ритуалов, обложенной стеной камней и охраняемой высеченными из горного туфа истуканами предков, провела мимо мужского дома собраний, мимо всех спящих фаре, будто желая явить позор девушки, засвидетельствовать перед этими молчаливыми зрителями бесчестье ритуальной принцессы, посмеявшей долгие годы находить незаслуженный кров в их мирном селении.

Наконец, втолкнув девушку в хижину, Пифанга уселась напротив, как сторож, дожидаясь минуты, когда души жителей Мокоии вернутся. Ждать пришлось не так долго. Один за другим просыпались дома, наполняя деревню и окружающий лес звуками человеческой жизни. Плакали дети, кричали их матери, смеялись отцы, добродушно болтая о чем-то с другими мужчинами. Кто-то, собираясь рыбачить, приводил свои снасти в порядок, кто-то готовился к изнурительному труду на плантациях. Тут и там доставались запасы еды, в земляных печах грелись камни.

Решив, что момент наступил, Пифанга повела Хинемоа к вождю, с ехидной усмешкой напомнив, чтобы та надела свою лаву-лаву, поскольку теперь они не одни. Как хотела вызвать она в Хинемоа смущение, как хотела оскорбить эту любимицу жизни, но девушка, оправившись после первого страха, уже не боялась Пифанги. Она никого не боялась. Только любовь была по-прежнему в сердце и эта любовь давала ей осознание правоты, высшей и непорочной, той правоты, что не могли оспорить людские обычаи, пусть даже дарованные человеку святыми тохунгами.

«Разве не есть мир — любовь?» — рассуждала девушка. — «Разве не вьют птицы гнезда, самка с самцом, и разве не любят друг друга они в этих гнездах, взращивая потомство на радость своему покровителю, улыбчивому богу Тане? И разве не ищет в беспредельных просторах Моаны рыба-мужчина свою рыбу-женщину, из союза с которой родятся их общие дети,

а от этих детей внуки и правнуки и так без конца, как завещал всем тварям морским Тангалоа, создавая великое царство, невесту Земли — Океан? Так почему же она, Хинемоа, не должна подчиняться извечным законам природы? Неужели богам мила ее девственность? Неужели им нужна чья-то жертва, дабы двигался дальше, не прерываясь, величественный круговорот земной жизни?

Нет, Хинемоа не понимала такого порядка вещей и сейчас, идя за Пифангой к вождю, возмущалась выпавшим на ее долю несчастьем. С завистью смотрела она на жителей Мокоии, на всех этих обремененных мирскими делами людей, рыбаков и охотников, искусных строителей лодок, резчиков дерева и моряков, склонявших почтительно головы при ее появлении. С завистью не к их мастерству и уделу, но к возможности свободно любить, не боясь наказания за свои чувства.

Вот о чем думала Хинемоа, идя с Пифангой к вождю.

И вот почему, увидев его, облаченного в великолепный наряд из красных перьев попугая сенги и ожерелий из отточенных зубов кашалота, девушка не отвела своего взгляда от взгляда отца.

Радостным и приветливым был отец. Он, суровый вождь Мокоии, грозный в мирное время и безжалостный на войне, встречал дочь Хинемоа, не тая нежности. Немногим, далеко немногим во всей Оялаве выпадала честь ощутить на себе расположение матае. Тура не чаял души в дочери и редко проявлял к ней суровость, и теперь эта любовь, должная пару мгновений спустя обратиться праведным гневом, больно ранила Хинемоа, но не заставила отвести взгляда.

Вождь сидел в конце залы, напротив входа, служившей одновременно приемной по срочным делам, трапезной и комнатой отдыха, где по вечерам он внимал танцам и песням наложниц, беседовал с тохунгами племени. Он сидел на циновках, скрестив ноги, и принимал из рук двух приближенных служанок жаркое из кабана, запеченное в листьях банана. Даже сейчас, в эту раннюю пору, когда ни один завзятый рыбак не успел выйти в море на поиски рыбы, он был величественен и прекрасен, и его прямая спина, словно высеченная из твердого камня, излучала недоступное обыкновенным смертным достоинство. Полон достоинства был и его немой жест, пригласивший Пифангу и Хинемоа сесть подле него на циновки, где, склонив почтительно головы, им предстояло дожидаться момента, когда он закончит священную трапезу и уделит им свое бесценное время.

Все в облике Туры вызывало восторг, все говорило о том, что пред вами потомок богов, чья родословная брала свои корни от первых героев Гавайки, далекой прародины островитян. Все в великом вожде было божественно, и когда, покончив с едой, Тура медленно смежил глаза, приготовившись слушать, казалось будто тысячи предков застыли в слепом ожидании, стараясь узреть человеческий голос.

И взяла первой слово Пифанга.

Недобрыми помыслами приводилась в движение ее речь, желчными были слова, шедшие из темного сердца. Хмурился вождь, постигая их смысл и душа его, подобно сосуду, наполнялась водой чужой злости. Такого позора Тура не терпел никогда в жизни. Не раз доказав на полях битвы свою храбрость и ум, он теперь чувствовал себя не покрытым татуировкой юнцом, взирающим на врага с постыдной растерянностью. Не знал он, как действовать перед лицом этой опасности, как воевать с этим новым противником без плоти и крови. Бесстрашный в сражениях с позором, которые он непрестанно вел в каждой войне и в каждый день мира, Тура не был готов бороться с бесчестьем, добытым для него собственной дочерью.

Дослушав Пифангу, Тура спросил Хинемоа:

— Правду ли говорит эта женщина?

И Хинемоа ответила:

— Да, великий вождь Тура, если можно назвать шипение змеи, что приготовилась к смертельной атаке, правдивой — эта женщина говорит правду. Но правда не всегда справедлива, отец. Черной завистью продиктованы слова злой Пифанги и единственным ее побуждением, подобно побуждению тридакны, притаившейся между кораллов, чтобы схватить легковерную рыбу, есть желание меня погубить.

И ответил тогда вождь Тура девушке:

— Мир не справедлив, Хинемоа. Помни это, моя беспутная дочь, дабы не было больше в жизни твоей заблуждений и досадных ошибок. Невинна ты еще в своем сердце, хоть познала мужчину. Но всякий ребенок когда-нибудь должен стать взрослым. Так стань же взрослой теперь, Хинемоа! Знай, нет другой справедливости в мире, кроме справедливости силы, ибо кто осмелится в здравом уме предать суду дела победителя?

— Может быть, боги? — ответила девушка.

— И боги любят сильнейших. Я не знал ни одного матае, который, победив на земле силой оружия, был бы потом наказан богами. Такое возможно только в легендах, но легенды что сказки для взрослых. Не всему в них следует верить на слово.

Так сказал Тура, и взор его омрачился раздумьем. Долго размышлял он, долго вел мысленный разговор сам с собою, решая, как поступить. Когда же молчание его стало гнетущим, он обратился наконец-то к Пифанге:

— Не мне учить тебя, женщина, как поступить в такой ситуации. Вам, коварным ханжам и плутовкам, известно, что нужно сделать, чтобы жених считал себя первым мужчиной невесты, пусть даже та трижды до этого была в браке. Представь в глазах Кахукуры Хинемоа вновь девственной и будешь мной награждена. Открывшееся же сегодня забудь. Не годится нам, достойным правнукам Ру, предстать перед остальными каингами Оялавы вечным поводом для злых насмешек.

А ты, моя дочь Хинемоа, готовься к свадьбе.

Назначим этот торжественный день на следующий месяц, после ритуального выбора Человека-птицы. Дни же в ожидании праздника ты проведешь в своем фаре под присмотром Пифанги. Это избавит твой незрелый разум от необдуманных действий и дарует нам, старик, желанный мир и покой.

Так сказал Тура.

И женщины, склонив пред ним свои головы, направились к выходу.

Долго плакала Хинемоа по возвращении домой. Не спускала более глаз с нее злая Пифанга, расположившаяся возле входа в жилище с домашней работой. В полдень заступала она на свой пост, а ближе к полуночи ее сменяла родная сестра Ниварека, которую в свою очередь на рассвете подменяла третья тетка — Паре. Надежно и чутко стерегли они пленницу, лишь иногда позволяя выходить из темницы. И если кто-нибудь вдруг задавался вопросом в каинге: «Почему давно не видать Хинемоа, ритуальной принцессы? Почему не радуется больше она ничьим взорам? И почему стерегут ее тетки Пифанга, Ниварека и Паре?», — им отвечали, что Хинемоа больна и ей необходим отдых.

Долго плакала Хинемоа, но ни одна душа в каинге не знала об этом. Все были рады скорой свадьбе таупоа и вождя Кахукуры, и даже отец девушки, великий матае племени Мокоии, мысленно считал дочь счастливой. Расценив ее похождение не иначе, как прихоть, сиюминутной блажью, он уже видел момент, когда та, раскаявшись и поумнев, вступит в дом имени того мужа, наряженная в свадебные ожерелья. Одна лишь Пифанга знала, сколь тяжело дается Хинемоа разлука. Но разве была душа у этой уродливой женщины? Разве не жил давно в ней горный дух, сожравший все внутренности, и теперь приводивший в движение ее мертвую плоть одной своей ненасытной к злу волей?

Вот почему было сказано: «Ни одна душа не знала о страданиях Хинемоа». Может быть, лишь Тутанакеи, не дождавшись любимой в условленный час, догадался, что с ней приключи-

лась беда. А может, наоборот, рассердился, разгневался юноша, решив, что Хинемоа над ним посмеялась и, даровав ночь лживого счастья, обрекла на горькие дни расставания. Помнит ли, любит ли он еще Хинемоа? Не отвернулся ли от нее? Придет ли на выручку, как обещал или, разуверившись в верности женского сердца, уплывет на лодке в сторону восходящего Солнца на поиски вечной славы и смерти?

Сомнения не давали Хинемоа покоя. Но на счастье ее неподалеку от фаре на ветках шелковичного дерева вила гнездо семья миромиро — жизнелюбивых белогрудых синиц, ожидавших потомства. Эти милые птички были известны своей домовитостью и столь редко встречающейся на Земле прочностью супружеских уз, благодаря которым самец и самка проживали всю жизнь неразлучно. Он помогал строить гнездо и заботиться о потомстве, а она в награду ему заливалась прелестными песнями, оглашая округу переливчатой трелью, утешая и радуя сердце супруга. К миромиро не раз обращались влюбленные с просьбой соединить разлученные души: мужья хотели вернуть сбежавших из дома жен, невесты плакали о женихах, чьи лодки не вернулись из моря. И всегда миромиро спешили на помощь, не зная отказа и неудачи. Они находили заблудших, тихонько садились к ним на плечо и начинали свой нежный щебет, в каждом звуке которого таились воспоминания о доме и оставленных близких. В сбежавших эти песни воскрешали любовь, заблудившимся открывали дорогу, больным придавали сил подняться на ноги. Для всякого у них была добрая песня. И, вспомнив об этом сейчас, Хинемоа тихонько позвала миромиро, надеясь, что та не откажет и разыщет любимого.

Услышав зов девушки, птичка легко вспорхнула в окно и, устремив на пленницу два темных бусинки-глаза, замерла в ожидании человеческой речи.

И произнесла Хинемоа:

— О, миромиро, утешительница разлученных сердец!

Помоги мне отыскать милого. Заперта я в этом доме и не могу придти к нему на свидание, хоть в мыслях своих подле него. Скажи ему, что узнала тетка Пифанга о нашей любви и что запрещено мне отныне покидать свою хижину не иначе, как на свадебный пир в честь обручения с вождем Кахукуррой.

В точности запомнила миромиро слова девушки и, когда та умолкла, взмахнула короткими крыльями, устремившись в объятия неба, как лодка навстречу Моане. Поднялась она над деревней, поднялась над кронами леса, поднялась над дымом тлевших костров. Поднялась так высоко, что выше ее были лишь Кара и Какепуку, и полетела меж гор к блестевшему серебром океану.

Летела птичка все дальше, гонимая просьбою девушки. Вот позади осталась песчаная пристань деревни, позади остался остров Офату, а Отахуху приближался все ближе и ближе. Высоко поднимался он над водой острыми, скалистыми очертаниями горы Пукетарата — отвергнутого Карой любовника, который вот уже тысячи лет с завистью и обидой грозно взирал на счастье соперника и не сходил с места, не решаясь покинуть прекрасную Кару. Кто знает, быть может, однажды, проникнувшись терпеливой любовью несчастного, гора-женщина переменит свое настроение и снова станет его, отвергнув красавчика Какепуку? Грезя об этой желанной поре, Пукетарата время от времени предавался мечтам, отчего вершина его закрывалась белыми облаками, и люди тогда говорили, что он заснул и что не стоит тревожить его сновидений. В такие дни смолкали все разговоры и смех, прекращали стучать священные тесла по дереву. Каждый боялся, что прерви он сон могучей горы, и та в гневе и ревности, покинув свой остров, устремится сражаться с ненавистным противником, пытаясь завоевать любовь силой, и тогда жителям Оялавы несдобровать. Тяжело придется и птицам и зверям, и потому миромиро, всегда гнездившаяся по соседству с людьми и отлично знавшая все их легенды, приближалась к земле Отахуху как можно тише, чтобы не потревожить спавшего великана.

Перелетела она узкий пролив, разделявший два острова, с разбросанными по воде небольшими утесами, что обронил Пукетарата во время своего последнего побега с земли

Офату и, тихонько чирикнув, села на ветку прибрежного дерева. И увидела она Тутанакеи и, увидав его, признала в нем гордого юношу, по которому плакала в заточении Хинемоа. Разве мог этот стан, величавый и мужественный, эти мускулистые руки, похожие на двадцать сплетенных между собой лиан, эти широкие скулы и полный достоинства взгляд, принадлежать кому-то другому, не Тутанакеи?

Печален был юноша, сидевший на побережье. Тяжело и ему давалась разлука, и его печень грызли злые духи страдания, а взгляд то и дело устремлялся к противоположному берегу, туда, где жила Хинемоа.

Прониклась добрая птичка терзаниями влюбленных. Вспорхнула с ветки она и села на плечо юноше. Вздохнул Тутанакеи от неожиданности, так погружен он был в свои мысли, но тут же узнал миромиро и возликовал в своем сердце, потому что понял — пришли долгожданные вести. Не успел он опомниться, как миромиро прошептала послание милой. И хоть Тутанакеи не знал птичьего языка и в залиvistых трелях слышал только прекрасную музыку бога Тане, сейчас он понимал каждое слово небесной посланницы. В какой-то момент ему даже почудился голос самой Хинемоа, звонкий, чистый и любящий, словно не птица с ним говорила, а девушка, и было это так же реально, как если б она сидела подле него и он мог ее видеть.

И поднялся Тутанакеи, расправив широкие плечи, готовый сразиться с самой судьбой, и в глазах его бегали грозные молнии.

И обратился он к белогрудой синице:

— О, миромиро, горькая вестница бед!

Лети назад, к Хинемоа. Сообщи ей, что не успеет новый месяц родиться, как станет она моею женой. Сам отец ее, славный вождь Тура, почтет за честь обручить дочь со мною, бедным сыном рыбака и мастерицы циновок, и подлец Кахукура, грязный матае нечестивого племени Уикато, признает наш брак угодным богам.

Скажи ей, что добуду я для верховного тохунга своего племени сокровенный титул Человек-птица и, добыв его, потребую в жены себе таупоа. Скажи ей, и пусть она не сомневается в этом. Ибо кто, как не я, достоин стать крепким сосудом для маны предвечного, напиток небес, что Тане готовит лишь избранным? Скажи ей, и пусть слезы горя станут слезами счастья, а ожидание гибели — ожиданием новой жизни.

Никогда прежде не слышала миромиро речи прекраснее этой и потому стоило только Тутанакеи замолкнуть, как в тот же миг она поспешила обратно, к тоскующей Хинемоа, боясь забыть хоть один слог этой возвышенной песни.

А Тутанакеи, оставшись на острове, мысленно стал готовиться к предстоящему состязанию, от поражения или победы в котором теперь зависела вся его жизнь. Вот уже несколько лет верховный тохунг деревни Афио прочил юноше роль участника ритуала, выделяя его своим проницательным взглядом из многих десятков достойнейших претендентов. Сезоны дождей сменялись засушливым летом, снова и снова собирались с полей урожаи ямса и таро, рождалась и гибла Луна, а терпеливый тохунг, которого каждый год, словно нарочно, обходил стороной почетный титул, наблюдал, как мальчик Тутанакеи превращался в мужчину. Он следил, как крепнут мускулы на его длинных руках, как крепнет взгляд и становится твердой походка, как очищаются мысли его от мирской скверны, воспаряя до самых дальних небес во время культовых служб на мараэ, и убеждался в правильности своего выбора. Не было ни одного дня, когда Тутанакеи разочаровал бы тохунга. Поистине, юноша этот, рожденный в женских муках и слезах, так же, как все остальные, и так же, как все остальные, казалось, должен нести бремя посредственной жизни, став рыбаком или безвестным ремесленником, был посланцем богов, призванным вернуть племени былое величие. Так считал верховный тохунг, и Тутанакеи, слушая его прорицания, все сильнее убеждался в собственном предназначении, пока наконец не пришел час воплотить пророчества в жизнь, увековечив свое имя в легендах.

Только теперь, обозревая прошедшие годы, он понимал, что готовился к этому часу с самого детства. Готовился, даже не осознавая того, инстинктивно, вслепую. Как гусеница, переживая таинственный процесс преобразования в бабочку, не ведающая какое чудо с ней происходит, так и Тутанакеи рос и мужал, не отдавая отчета, что его детство лишь подготовка к великим деяниям зрелости. В невинных играх со сверстниками он готовился к будущему. Играя в прятки, соревнуясь в лодочной гребле, состязаясь в борьбе, где ему никогда не было равных, он готовился победить в куда более значимом состязании. Ради этой смутной мечты он всегда и везде стремился быть первым и, если, к примеру, они с ребяташками, подражая взрослым мужчинам, делали из прутьев копья и шли войной на врага, Тутанакеи брал на себя роль военачальника и шел впереди всех, оглашая окрестности боевым кличем.

И вот наконец-то настал час испытания.

И пробудился Тутанакеи от сна и узрел рассвет дня, в который предстояло ему свершить уготованное. Солнце, огромное лучезарное божество, вставало на востоке из Моря. Ухватило горящими дланями оно за горизонт, расплескав по окрестностям золотое свечение, и подняло над водой голову и побагровело от невероятных усилий. Но уже в следующий миг, воспарив над морской гладью, засияло таким ярким светом, что Тутанакеи закрыл ладонью глаза, ослепленный далеким пожаром.

Весело дул южный ветер, наполняя треугольные паруса лодок, спешащих в Оронго с соседнего острова. Безмятежно плескалась Моана, разрезаемая кормами великолепных судов с широкими дощатыми палубами, с которых до слуха юноши уже доносились песни радостных кормчих.

Не для дальнего плавания готовились эти лодки и не на рыбный промысел выходили они в Океан. Их торжественный ход был полон сакрального смысла. Корабли везли вождей и верховных тохунгов племен Офату в сопровождении многочисленной свиты. Даже самые последние из рабов были наряжены в праздничные украшения, отчего издали лодки казались карнавальными сценами, и лишь присмотревшись можно было увидеть среди этого пестрого разнообразия перьев, цветов и фруктов маленьких человечков с самодовольным достоинством глядящих вперед. Ничто не могло потревожить людей: ни мерная качка Моаны, игравшей тяжелыми лодками, словно ребенок кокосовой скорлупой, ни соленые брызги воды, ни жалобные крики птиц, сопровождавших морскую процессию по небу. Лишь когда корабли пристали к берегу, экипаж лодок ожил, медленно и благочинно сойдя на белый песок благословенного острова.

На побережье гостей встречала знать Отахуху. Соединившись в приветственных танцах и дружелюбных похлопываниях, вожди и тохунги архипелага устремились вглубь леса по неширокой тропинке, ведущей в Оронго.

И Тутанакеи был среди них. Он ступал по правую руку от верховного жреца Афио, в то время как толпа слуг семенила за ним косяком мелких рыб, замороженная величиим предстоящих событий. Тропа все время шла в гору, то карабкаясь по скользким земляным склонам, то перепрыгивая через ручьи и стволы полусгнивших хлебных деревьев, то устремляясь в непроходимые заросли лиан и ветвей тысячелетних деревьев, и люди, повторяя каждый изгиб непокорной дороги, тоже карабкались, и перепрыгивали, и устремлялись сквозь заросли джунглей, расчищаемые топорами рабов. То и дело между кронами пышного леса мелькала вершина Пукетараты, осененная утренним солнцем, где процессию ожидал Человек-птица, неприкасаемый жрец, живое воплощение Тане, одинокий в своем божественном единении.

Целый год он прожил в птичьем облике бога, дабы верили люди, что не забыл тот своих сыновей, не променял их тревоги и горести на беспечную жизнь в райской Гавайки. Целый год ноги его не касались земли, а тело не ведало радости омовений из страха освятить своим прикосновением почву и воду, наложив на нее священный запрет, табу для смертных людей. Пищу он принимал не иначе как из рук культовых слуг, и посуда, из которой он ел, в тот же день сжигалась в костре, и пепел ее отдавался на волю ветрам. Он не стриг ногти и волосы, не

брил бороды, не менял ритуального облачения, считавшихся частичкою божества, и теперь, по прошествии долгого цикла служения в Оронго, был готов наконец передать это тяжкое бремя обязанностей очередному тохунгу, избранному Милосердным в качестве своего воплощения.

Сидя на возвышении из камня, венчавшего площадь мараэ, встретил Человек-птица процессию.

В тишине проходило это свидание. Молча взирали пришедшие на бога, молча смотрела в ответ деревянная маска фрегата, украшавшая голову Тане. Молчали и шестеро культовых слуг, стоявших по обе стороны от жреца. Любое слово, исторгнутое из человеческих уст, любой шорох, любое движение были бы сейчас ужасным кощунством и потому все хранили безмолвие, оберегая святость момента.

И была нарушена тишина богом. Чисто и высоко запел Человек-птица. С филигранною точностью резчика деревянных фигурок выводил он слова, строил из них предложения, надеялся предложения смыслом, а смысл зажигал огнем истины.

Он пел о тех временах, когда еще не было мира, а лишь чернота, в которой Атеа и Папа, сомкнувшись в любовном объятии, зачали первых богов: Тангалоа и Ронго, Тане и Ту. Жрец пел, как расторгнуты были эти объятия, и как подпер сильный Тане руками Атеа, и как осветило Солнце всю землю, и появилось безбрежное море и суша, Гавайка. И была произведена на свет первая женщина, прекрасная Хина, взятая Тане себе в благословенные жены, и от союза их появились герои, а от героев — вожди. Много появилось вождей, потомком Тане, пел Человек-птица, но жили они в разногласии друг с другом, не могли поделить землю Гавайки. И разгневался тогда бог на людей и изгнал своих сыновей из священного края, каждого в свою сторону.

Изгнал он и матае по имени Ру, прародителя жителей Оялавы.

На двенадцати лодках отправился Ру в долгий путь, пел Человек-птица, ибо был он великим вождем и множество было воинов в его в подчинении, в изобилии было богатств у него и еды. Грозные ветры швыряли тяжелые волны на лодки, пытаясь те опрокинуть, и беспредельное море вселяло в души первопроходцев отчаянье, пророча им верную гибель. Но умел и искусен был Ру, множество знаний было открыто его светлому взору, владел он и тайною лестию, которой соблазняют удачу, приступая к трудным делам, и потому на второй месяц плавания народ его все же достиг берегов Оялавы и, найдя их пригодными к жизни, остался здесь навсегда.

Давно это было. Двадцать два поколения людей сменилось в извечном круговороте смертей и рождений, но память тохунгов свято хранила легенду, передавая ее из уст в уста. До сих пор каждый жрец помнил священный завет, что оставил своим людям Ру, поделив оба острова на двенадцать племен по числу кораблей, достигших архипелага. «Хранить мир, не делать оружия, не копить зависти в сердце, дабы не вызвать вновь гнева всемогущего бога», — так завещал Ру потомкам.

Но не исполнили люди обета. Лишь душа их великого предка вернулась обратно в Гавайки, освобожденная смертью от брэнного тела, матае поссорились и, разделившись между собой на союзы, предались кровавой войне.

Чудовищны были годы, последовавшие вслед за этим. Каждый вождь стремился быть первым и ради этой безумной мечты нападал на соседа, безжалостно вырезая мужчин и женщин, стариков и детей, не желая слушаться голоса разума. В непрестанных войнах утратилось древнее знание дальних плаваний, убиты или заморены голодом были те моряки, что преодолели некогда тысячи морских горизонтов, замучены были их жены и братья, растерзаны сыновья, хранившие тайну мудреной науки. Но лишь сильнее ожесточались души вождей, уже не тех первых клятвопреступников, нарушивших завещание Ру, а их свирепых потомков, внуков и правнуков, рожденных средь пламени распри и помнить не помнящих мирного времени. Оказавшись в ловушке, навеки отрезанными от прародины Гавайки, они повели свои войны еще

бессердечнее предков, прерывая их лишь с единственной целью — залечить раны, подготовить из только что прошедших инициацию юношей новых солдат и снова отдаться сражениям.

Все чаще на алтарях священных мараэ приносились в жертву рабы, посвященные ненасытному богу Ту, божеству разрушения и смерти, и все реже в устах верховных тохунгов звучали молитвы, угодные слуху Тане. Вместилищем скорби и страха стали святыне мараэ, превратились они в места нечеловеческих пиршеств, где останки врагов поедались их победителями, желавшими этим древним магическим способом перенять силу убитых, сделаться несокрушимыми.

Помутился рассудок жителей Оялавы, но к счастью бог Тане, милосердный бог Тане, покровитель птиц и зверей, бог изобилия и мира, не отвернулся от своих безрассудных детей. В тот самый час, когда, казалось, исчезла последняя надежда спастись, он снизошел на проклятый остров, покинув ради людей священную родину. В виде морского фрегата, парящего высоко в небе, этой гордой, царственной птицы с ярким пурпурным зобом и свободным размахом изогнутых крыльев, не искавшей на склонах земли ни отдыха, ни пропитания, ни уютных гнезд в кронах вечнозеленых деревьев, предстал перед людьми бог. И люди признали его, и возродилась в их душах надежда.

Во снах и мистических трансах, во время созерцания огня и бесед с духами открылась тохунгам великая истина. Слезы стояли в глазах умудренных тайным знанием жрецов, когда они вещали свои откровения людям, и люди, слушая их, преклоняли колени. И бросали оружие свое и отрекались от бога Ту, плакали они и раскаивались. Они, вчерашние воины, с головой погрязшие в насилии и подлостях, увидев, что не отвернулся от них Милосердный, не утратился, не возненавидел деяний их рук, что он снова готов принять людские молитвы, даровав им прощение, становились радостными и счастливыми, словно дети, и на устах их оживала улыбка. Даже в самых выжженных враждой сердцах, в сердцах вождей и их приближенных, весть о возвращении бога пробуждала угрызения совести, ибо и они устали от кровопролитий, и их души жаждали прощения Тане, чтобы отказаться от страшных своих преступлений, начав мирную жизнь.

Так поселился на островах Оялавы бог мира, Человек-птица, с любовью и лаской взирающий на людей со своего земного дома в Оронго. К нему приходили за утешением и поддержкой, его просили вразумить жестокосердных вождей, если те снова отдавались во власть бога Ту, забыв заповедь кротости, и Тане неизменно вставал на сторону благоразумных, помогая вернуть согласие. Не покидал он более Оялавы, ясно предвидя то время, когда каждый станет друг другу сестрой или братом, когда наступит на островах благоденствие и, рассмеявшись, дарует детям своим изобилии, равное изобилию райской Гавайки, и будет оно длиться вечно.

Так пел Человек-птица.

Гримасы боли и ненависти плясали на божественном лице его, когда вел речь он о братоубийственных войнах и, напротив, улыбка счастья озаряла лицо, когда предвосхищал блаженное будущее, без вражды и лишений.

Так пел бог, и когда он закончил, в Оронго вновь пришла тишина. Люди застыли в оцепенении, склонив нечестивые головы, пристыженные словами тохунга, ослепленные той светлой мечтой, лелеемой богом, в осквернении которой были повинны все они в равной степени. Кого изберет Тане своим земным воплощением, если не найдется достойного священного дара? Кого наградит он сладчайший из поцелуев, если губы всех окажутся замазаны ложью?

Но недолгим был страх, ибо поднялся Человек-птица, выпрямился во весь рост, бросая длинную тень на камни мараэ, и заголосил птичьим криком, протяжным ликующим клекотом, давая команду начать состязание. Бог танцевал, кружась на своем постаменте, и был его танец последним, совершаемым в нынешнем теле. А значит узрел он достойного среди нечестивых и дух его приготовился к странствию.

Как по команде из толпы вышло двенадцать крепких мужчин, двенадцать сильнейших воинов Оялавы, по одному от каждого племени. Встав у крутого спуска горы, они застыли, как статуи, в ожидании новой команды. Внизу, под их стопами билась Моана, пенилась она и стонала в экстазе любовного противоборства с гранитными скалами острова, суля смелым воинам гибель. Но смерть не пугала отважных мужчин. Ни один мускул не дрогнул на их смуглых лицах, ни один не сделал шага назад, устранившись открывшимся зрелищем. Прекрасны были гордые воины. Однако и среди них, среди лучших из лучших, выделялся, превосходя всех и силою и величием, Тутанакеи, славный сын своего племени. Зажженный, как факел, огнем любви к Хинемоа, стоял Тутанакеи перед пропастью, и Море ежилось под его взглядом, боясь принять в себя юношу. «Разве не раскаленным углем бросится он в мои прохладные воды?» — думало Море, глядя на Тутанакеи. — «Разве смогу я потушить его жар? Разве не выкиплю белым паром до самого дна прежде, чем остужу порыв страстного сердца?»

Так думало Море, и, поистине, велик человек и велика та любовь, способные вызвать подобные мысли у безграничной стихии, для которой род людской все равно, что игрушка, раб его переменчивой воли.

Но завершил Человек-птица свой танец, смолкла песня его, опустились руки-крылья к земле и двенадцать мужчин бросились вниз по склону горы к бесновавшейся вдалеке Моане. Устремились жрецы и матае вслед своим воинам, прихлынули они к краю обрыва, как за первой волной прибоя вторая, дабы лучше видеть происходящее, и узрели, что Тутанакеи бежал самым первым, уже успев оторваться от остальных.

Он бежал, вызывая в душах людей восхищение. Казалось, ничто не могло ему помешать — столь легки были движения его, молниеносные движения зверя, но не человека. Обрывист и крут был его путь, коварен был и опасен. За огромными, белыми, как кость, валунами открывались отвесные пропасти и земля ускользала из-под его быстрых ног, норовя низринуть незваного гостя в бездну, но Тутанакеи бежал, не замечая преград, словно склон под ним был ровной долиной. Все тренировки, все долгие годы служения одной-единственной цели, вся его необоримая воля к победе заострилась копьем и копье это, пущенное меткою, сильной рукой предназначения, летело сквозь пространство и время в самое сердце свершения, в сердце мечты.

Первым он бросился в Море, и Море вскипело, обняв его тело водой, взметнулось клоунами пены, навалилось рокошующим валом, желая отбросить обратно на скалы, переломать герою все кости, ободрать с него кожу и мясо. Но твердо встретил Тутанакеи удар, и усмирилась стихия, признав его силу, и стала покорной и ласковой. Быстро поплыл юноша по волнам к видневшемуся вдали островку, к одному из тех безжизненных черных утесов, что оставил Пукетарата в воде, покидая изменницу Кару.

Стаи крачек и олушей, прилетевших на Оялаву откладывать яйца, гнездились на острове. Они неустанно кричали, сгрудившись плотной толпой на маленьком клочке суши. Самки желали уединиться, чтобы в тишине и покое свершить торжественный акт продолжения жизни, но им было тесно на каменистом утесе и они сердито толкались, клевали друг друга, а самцы пререкались с соперниками, желая отвоевать для своих жен пространство. Те же из птиц, что не были заняты склокой, охотились на морских рыб. Неспешно паря над водой, они выглядывали их зорким взглядом сквозь зеленоватую толщу Моаны и затем, приметив беспечную жертву, бросались за ней камнем вниз, сложив крылья и вытянув голову. Почти всегда молниеносный бросок венчался успехом, и на остров самцы возвращались с добычей — с судорожно бьющейся рыбиной, преподнося ее в дар своей женщине, должной вот-вот принести им потомство.

Чувствуя новую, неизвестную прежде опасность, исходившую от гладкокожих зверей, приближавшихся к ним по воде, птицы становились все беспокойней и крикливей. Они парили над Тутанакеи и одиннадцатью плывшими за ним мужчинами, надеясь отпугнуть людей от своих гнезд. Но где было птицам им помешать?

Другие, более грозные испытания, стояли на пути соревнующихся. Течение и усталость были их недругами, а темная глубина океана — разверзшейся бездонной могилой, готовой поглотить всякого, кто обессилеет в борьбе. Водились здесь и акулы. Где-то там, в таинственной глубине Моря, рыскали они, словно охотники за головами, готовые атаковать в любую секунду, внезапно и скрытно. Каждый мог стать их жертвой, и страх перед этой опасностью был даже страшней самой смерти. Омерзительным холодом вползал он в сердца воинов. Он скользил по их спинам, впивался в руки и ноги острыми иглами, как будто акулы уже сомкнули на них свои челюсти. И многие видели в этот миг над водой черные миражи острых гребней, разрезающих Море подобно ножу.

Тутанакеи тоже чувствовал ледяное прикосновение страха, ибо и он был простым смертным из плоти и крови. Но всякий раз, когда страх заползал в его сердце, он лишь яростней бросался в борьбу, презирая приступы слабости.

Подгоняемый любовью и ненавистью, он вскоре достиг скалистого берега. Напрасно птицы кричали, пытаясь прогнать его со своей территории, напрасно махали мощными крыльями, желая его уstrasшить. Юноша был непреклонен. Отогнав от ближайшего гнезда рассви-репевшую крачку, герой взял в руки яйцо, символизирующее сосуд с маной Тана и, закрепив в специальной повязке на лбу, как в мешочке, бросился снова в море.

Соперники были неподалеку. Одни, достигнув утеса, карабкались по каменистому склону, лихорадочно рыская по расщелинам взглядом, в поисках заветного трофея, другие были в каких-нибудь нескольких метрах от суши. Никто не хотел сдаваться без боя, отдавать победу Тутанакеи — этому выскочке, молокососу, только вчера прошедшему инициацию и не знавшему еще настоящих сражений. Все могло решиться в последний момент. Удача — капризная девка, ее настроение изменчиво. Да и так ли любим был богом Тутанакеи? Разве не играл порой Тана судьбами избранных, не одаривал их почетом лишь для того, чтобы потом жестоко сбросить с высот былого величия в грязь и бесчестье? Разве не жаждал он явить людям немощь смертной природы, еще раз напомнить заносчивым детям своим, кто их настоящий отец и чего они стоят без его милости?

Так рассуждали соперники Тутанакеи.

Те, кто надеялся на перемену фортуны, на счастливое вмешательство бога, пытались догнать неуловимого юношу, вкладывая в преследование все силы. Другие, находившиеся в хвосте погони и потому не уповавшие на оплошность противника, рассчитывали одолеть его в честном сражении. Они плыли наперерез, преграждая Тутанакеи дорогу, наваливались на него телом, топили в воде. Жестоки и величественны были те схватки. Не на твердой, привычной земле проходили они, где противники могли не опасаться подвоха, мужественно встречая врага в полный рост, но в стихии обманчивой, враждебной для человека. Тяжелым грузом сковывало любое движение Море, разверзалось пропастью под ногами, душило, норовя попасть в рот. Оно была сетью, в которую воин попадал, словно рыба. Оно отнимало пространство, путало и изматывало. Оно само было в каком-то смысле врагом, третьей силой, сражавшейся против всех. Не помогало Море Тутанакеи, не делало битву легче, но и противникам его не потворствовало. Когда сжимали те свои цепкие пальцы на горле героя, желая пресечь дыхание юноши, вода была одинаково непримирима к сражавшимся, одинаково им неудобна, и потому Тутанакеи, сильнейший воин во всей Оялаве, одерживал верх. Он ломал, выкручивал вцепившиеся в него руки и душил сам, безжалостно, самоотверженно.

Трижды Тутанакеи преграждали дорогу на обратном пути, и трижды сражался он с ненавистным врагом, пока наконец не осталось желающих помериться с юношей силой. Усомнились противники в желании Тана сыграть со своим любимчиком злую шутку, отобрав у него близкий триумф, и в сердцах их пробудилось смятение. Даже воины, что плыли в нескольких метрах от юноши, и потому все еще могшие надеяться на успех, при виде того, как легко он

одерживал верх над соперниками, поддались цепенящему колебанию и, сами не сознавая того, прекратили борьбу.

Выйдя на берег, Тутанакеи высоко поднял яйцо над собой, прокричав: «Брей голову, Человек-птица. Я добыл согласие Тане». И толпа на вершине горы, все это время молча взиравшая на поединок, возликовала, чувствуя юношу.

Под это приветствие, слившееся с барабанным ритмом культовых слуг, герой поднялся в Оронго. Встав на колени, он протянул верховному тохунгу Афио яйцо и тот, озаренный лучами полдневного солнца, принял подарок и взошел на мараэ, сменяя предшественника. И облачился он в ритуальный наряд — плащ из птичьих перьев и деревянную маску фрегата, и воссел на каменный пьедестал, и обвел глазами толпу.

И произнес Человек-птица:

— О, славные потомки Ру, вожди и тохунги Оялавы.

Теперь, когда Тане провозгласил свою волю, выбрав меня земным воплощение духа, для завершения ритуала остается только воздать законные почести воину, добывшему священный трофей. Разумеется, вам известно, что полагается победителю древнего ритуала. Давайте спросим героя, пока память наша крепка, как зовут семь юных девушек, семь прелестных красавиц, что заметил он взять себе в жены и, услышав ответ, исполним его желание в точности, как если бы оно исходило из уст самого Милосердного.

О, Тутанакеи! К тебе обращаемся мы. Назови имена, что приводят твою отважную душу в волнение и не дают по ночам ей покидать тело для странствий в загробной стране. Назови имена, и пусть они войдут в нас, словно музыка, и заставят нас танцевать, эти прекрасные звуки, исторгнутые любящим сердцем.

Так произнес Человек-птица.

И ответил Тутанакеи, выйдя вперед, чтобы все могли его видеть:

— О, милосердный бог Тане, о, мудрые вожди и верховные тохунги двенадцати племен Оялавы, их бесстрашные воины и верные слуги.

Нет в душе моей столько трепетных звуков, чтобы из них получилась долгая музыка, нет семи девичьих призраков, что ходят за мной по пятам, не давая покоя. Ибо ради одной лишь избранницы совершил я сегодняшний подвиг.

Ее зовут Хинемоа, и имя это я могу повторять целый день. На рассвете оно прохладно и светло, подернуто легким туманом. Звучит оно, как далекое эхо в горах, что резвится вдоль каменных склонов: дерзкое «хи» бежит от капризного «не», а за ними двумя вприпрыжку скачут близняшки «моа», играя в веселые прятки. Днем свежо и блаженно имя любимой. Как поток холодной воды оно в жаркий полдень, и порою мне кажется, что, произнося Хинемоа, это имя имен бесконечно, можно наполнить море ручьями, сделав его пресноводным. Ну, а ночью оно, как призыв, как kloкочущий ветер, как молния, устремленная с неба на землю в непреодолимом порыве соединиться. Разрывают печень мою эти звуки, заключающие в себе столько страсти, что и в камнях появилась бы трещина, если б они попытались сдержать в себе эти три сокровенные слога.

Вот как зовут возлюбленную моего сердца. Хинемоа, дочь вождя Тура, таупоу племени Мокоии. Так пусть теперь ваши ноги танцуют, а сердца полнятся счастьем под музыку этого имени, ибо нет прекраснее его во всей Оялаве.

Так сказал Тутанакеи.

И когда отзвучали слова влюбленного юноши, Человек-птица не решился нарушить молчание. Молчали и люди в Оронго. Трудно было судить по их лицам, о чем они думали: осуждали героя, завидовали ему или радовались. Ибо даже в этом, в выборе спутницы жизни, был он как никто дерзок, оскорбляя честь знатного жениха, который имелся у каждой такой ритуальной принцессы чуть ли не с самого момента рождения.

Молча взглянул Человек-птица на отца Хинемоа, великого вождя Тура. И молча же устремила на него взгляд толпа, отыскав в своем многоликом, изменчивом теле, исторгнув из столпотворения лиц фигуру матае. И застыла толпа, ожидая решения. Но решение запаздывало. Колебался великий Тура, снова чувствовал себя неуверенно, как не татуированный мальчишка, впервые вступающим в бой. Обычай неукоснительно требовал отдать Хинемоа Тутанакеи, ибо перечить воле героя нельзя. Сосудом для божественной маны отныне являлся юноша, таким же избранником бога, как и верховный тохунг, заполучивший священный титул Человек-птица. Перечить ему было все равно что перечить самому Милосердному. Но как поведет себя хитрый, коварный вождь Кахукура, когда иная святыня, договоренность между матае будет расторгнута? Стерпит ли подобное оскорбление? Не захочет ли силой оружия отвоевать Хинемоа? Не зажжет ли жертвенные костры на мараэ в честь бога войны Ту, чтобы заручиться его нечестивой поддержкой? Последствия принятого сейчас им решения могли быть ужасающими. Целиком и полностью ложились они на его, Туры, плечи, и вождь считал несправедливым, что, беря на себя такую ответственность, он фактически не имел права голоса.

Так размышлял вождь, и мысли его блуждали в темном лесу сомнений. Наконец, когда молчать дальше было нельзя, он, подняв глаза на тохунга, повел головой из стороны в сторону, давая согласие на брак своей дочери с Тутанакеи.

И возликовала толпа, торжествуя победу обычая. И, возликовав, прониклась счастливым забытием. Не замечала она, как забегали по Оронго слуги, засуетились, готовя праздничный ужин. Не замечала она Кахукуры, вид которого в этот момент смог бы поведать о многом. Злой, надменный был вид матае. Но слепое счастье людей и потому Кахукура, подобно охотнику под прикрытием ночи, казался им не более чем призрачной тенью. Даже Тутанакеи, этот никогда не терявший самообладания юноша, думал только о том, как обнимет завтра свою Хинемоа и не видел взгляда врага, устремленного на него двумя острыми копьями. Если бы знал он, как неотрывно смотрит на него Кахукура, как следит за его каждым шагом, то, верно, крайне бы удивился своему легкомыслию. Бесчувственной прибрежной гальки, которую давишь ногами и она добровольно дает это сделать, проявил себя Тутанакеи. И лишь Тура, старый вождь Тура, наученный горьким опытом жизни, видел взгляд Кахукуры и читал его, будто звездное небо.

До утра длился пир в Оронго в честь нового воплощения бога. И с приходом нового дня он продолжился уже в Мокоии, где толпа принялась с прежним задором и ликованием поздравлять счастливых молодоженов, отважного Тутанакеи и красавицу Хинемоа, наконец-то обретших друг друга.

Там, в Мокоии, счастливое забытие толпы стало лишь крепче. Сладостью на губах от вкушаемых яств было оно. Танцами стройных наложниц вставало перед глазами, как пестрая пелена снов. Музыкай флейт и трещоток, барабанов и звонких ракушек вливалось оно в уши празднующих. Лишь Тура по-прежнему видел взгляд Кахукуры, которым он испепелял Тутанакеи, и не поддавался всеобщему забытию. И когда тот, не сказав никому не единого слова, самым первым из именитых гостей покинул свадьбу, матае воспринял это сигналом для действий. Не теряя времени даром, он разыскал военачальника армии, крепкого великана Макао, и приказал втайне собрать отряд лучший воинов, засев с ними в засаде недалеко от деревни. Остальным же солдатам надлежало быть начеку, в любую минуту готовыми к бою. Знал Тура насколько хитрым был Кахукура, знал, как много у него друзей и союзников, в том числе среди празднующих, и потому действовал осторожно, боясь выдать противнику собственный план.

Лишь на заре гости отправились в родные села, а жители Мокоии принялись расходиться по хижинам. В полдень предстояло им пышной процессией вести Хинемоа в дом мужа и перед этим важным событием не мешало как следует выспаться. Один за другим исчезали они в своих фаре. Старики, обремененные выпивкой, засыпали прямо на улице, в тени шелковицы и пальм, а не татуированные юноши скрывались в лесу, условившись ночью о свидании с милыми. Только несколько подгулявших компаний сидели возле потухших костров, горланя

рыбачьи песни, в которых прославляли свои быстроходные лодки. У каждой из них было имя, даже парус или черпак имел благозвучное прозвище, и рыбаки помнили их наизусть. Они пели о лодках, как о живых существах, с любовью и уважением, и дрожали в этот момент их голоса, словно на ветру снасти, и по смуглым щекам скользили соленые слезы.

Пели они, прикрыв глаза веками, и когда из густых зарослей, окружавших деревню, вылетело копье и с нарастающим свистом вонзилось в грудь одного из товарищей, не прервали они грустной песни. Лишь когда повалилось на землю еще два рыбака, глаза живых открылись, увидев ужасное. И вскрикнули они, чтобы предупредить соплеменников, но крик этот тотчас умолк, захлебнувшись в собственной крови.

Меткими были воины Кахукуры. Однако напрасно надеялись они застать жителей Мокоии врасплох, перебить их, как спящих младенцев; напрасно надеялись на легкую победу. Навстречу врагу из хижин выбежали солдаты Туры, полные сил, готовые к сражению. Увидели они, какая участь постигла их братьев, и злость опалила сердца и горькая скорбь сделала равнодушными к смерти. Вооруженные топорами встретились они с противником на поляне, где лежали тела рыбаков, и ужасна была эта встреча. Десятком изодранных, разрубленных тел завершился взаимный удар. Раненые истекали кровью, вопя от боли и шока, извиваясь на земле, словно черви, а уцелевшие с безудержным упорством продолжали калечить хрупкую плоть, превращая живые создания в мертвые.

В самой гуще сражения бился Тутанакеи. И почти каждый взмах его топора нес кому-нибудь гибель или увечье. Дерзкими были атаки героя. Не шли они круглыми путями, трусливо избегая прямых, разящих ударов. Если враг его был нетерпелив и горяч, идя на Тутанакеи всей грудью, юноша бросался вперед, встречая нацеленное на него копье своим смертоносным оружием. В этом броске в один миг высвобождалось столько несокрушимой мощи, что юноша повергал противника наземь, отрубая ему конечности, голову, развезая брюшину. Если противник, напротив, был осторожен, атакуя внезапными выпадами, после которых тотчас возвращался обратно, не давая возможности для ответной атаки, Тутанакеи действовал молниеносно. Выгадав момент, он опережал движение врага своей неожиданной вылазкой, окропляя топор свежей кровью прежде, чем это успевал сделать недруг, и рука его не знала промашки.

Много людей Кахукуры отправил к праотцам юноша, а на теле его не было ни единой царапины, словно соткан был он из воздуха, словно воплотилась в нем сама Смерть, явившаяся на землю собрать урожай. Многие были убиты, многие — ранены и покалечены, но место выбывших занимали новые воины и, казалось, что им нет числа.

Постепенно отряд Мокоии отступил вглубь деревни. Обескровленные солдаты Туры не могли сдерживать натиска превосходящего в живой силе врага, и даже Тутанакеи был не в состоянии переломить ход сражения. Между домами же, в тесных, заросших кустарником улочках, отряд Туры получил значительное преимущество. Здесь численный перевес не имел большого значения. Ограниченный в пространстве бой принял равный характер. Нелегко был этот бой для воинов Мокоии. Под плач детей и визг жен проходил он, в огне и дыме пылающих хижин, на оскверненной врагом родимой земле. Обливалось сердце слезами, глядя на то, как противник вторгся в село, уничтожая все, к чему прикасалась рука. Нелегко было смотреть на все это, но иначе было нельзя. Свой тайный план имел Тура: заманить солдат Кахукуры в деревню и напасть на них со спины отрядом Макао. Знал он, лишь так можно выиграть войну, знал он, что жертв избежать невозможно, знал он и то, что, препоручив своих близких под защиту соседних племен, можно было предать их еще большей опасности, но знание это не несло утешения. Как морская вода было знание Туры, сколько не выпей ее — оно не избавит от жажды, и потому приходилось стойко терпеть свою боль, наблюдая своевластие противника.

Но вот наконец с грозными криками и улюлюканьем появился из леса отряд Макао. Свежие, еще не участвовавшие в сражении воины тотчас потеснили врага, прорубая кровавые бреши в его плотном порядке. И враг дрогнул под этим нажимом. Зажатый с двух сторон сол-

датами Туры, он едва отбивался от сыпавшихся ото всюду ударов. Каждый шорох, каждая промелькнувшая тень заставляла его оборачиваться, лишая драгоценного времени для атаки, изматывая, заражая тлетворною паникой.

Ряды сражающихся перемешались. Бой разбился на группы, в которых малочисленные воины Кахукуры, встав спиной друг к другу, оборонялись от наседавших на них разъяренных солдат Мокоии. Бросались те грудью на копья врага, опьяненные кровью и дымом пожарищ, бросались, словно заговоренные, и сблизившись с захватчиками на расстояние удара, опускали тяжелые свои топоры на их головы, плечи, на покрытые татуировками спины и животы. То был танец смерти, подобный тому, что посвящали жители архипелага милосердному богу Тане в дни жатвы. Но предназначался он для глаз иного создания. Только кровожадный бог Ту мог увидеть в этих чудовищных, изломанных болью и ненавистью движениях гармонию. Только он находил красоту в раскроенных, словно кокосовые плоды черепах, в бьющей из перерубленных вен гейзеров крови, в вывалившихся из животов внутренностях. Только он слышал музыку в истошных нечеловеческих криках, которых пугались даже деревья и горы, затыкая уши визгом испуганных вепрей да шелестом крыльев потревоженных птиц.

Силы захватчиков стремительно таяли. С каждым взмахом руки, с каждым отчаянным выпадом копья их становились все тяжелей, а движения медленней. Не опасались более солдаты Туры этих твердых духом людей, нападая на них без колебаний и страха. Слабей женщин теперь они были, безобидней детей, а души их, уже смирившиеся с безысходностью смерти, отправлялись в Гавайки так же легко, как и души глубоких старцев, в которых едва-едва теплилась жизнь.

Через двадцать минут все было кончено. Никому из нападавших не удалось живым покинуть места ристалища. Разделавшись с последними, стоявшими на ногах воинами, победители принялись спешно добивать раненых и никакие мольбы были не в силах смягчить их загрубевших в сражении сердец. «Победа будет неполной, если хоть один враг уцелеет», — думали солдаты Туры и, расправляясь с истекавшими кровью захватчиками, они забывали тушить горящие хижины, помогать раненым братьям, отцам, племянникам, утешать испуганных жен и детей. Была бы их воля, они прямо сейчас двинулись на селение врага, охваченные полыхавшим внутри духом мщения. Они бы вырезали до последнего человека, до последней свиньи и собаки все это гнусное племя, казнили бы вождя Кахукуру, передавшего управление армией военачальнику и таким образом избежавшего смерти. Только проделав все это, только тогда, но не раньше, воины Мокоии почувствовали бы умиротворение и, устроив торжественный пир, запели бы героический гимн своим подвигам, слагая очередную легенду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.